

**НАСЛЕДНИК
ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ**

П Р О З А

МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО

М И Х А И Л
ТАРКОВСКИЙ

ПОХОД



МОСКВА
2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т19

Оформление серии *Сергея Власова*

В коллаже на обложке использованы фотографии:
© Fabrizio Moglia / Gettyimages.ru;
© Alexander Demyanov, Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock.com
Используются по лицензии от Shutterstock.com

Тарковский, Михаил Александрович.
Т19 Поход / Михаил Тарковский. — Москва : Эксмо,
2019. — 256 с. — (Наследник вековых традиций. Про-
за Михаила Тарковского).

ISBN 978-5-04-098261-5

Книга Михаила Тарковского рассказывает о главных и больших вещах: как жить честно, что такое воровство, что есть героизм... «Хотелось показать отношения гражданина и государя, с одной стороны, и положение России конца двадцатого века — с другой, — говорит сам писатель. — У нас в тайге как молились старообрядцы по старым книгам, так и молятся. Как промышляли мужики соболя, так и промышляют. И как верны были собаки своему хозяину и своему промысловому призванию — так верными и остаются».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-098261-5

© Тарковский М., 2019
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ПОХОД

1

На шестьдесят пятом году жизни Иван Басаргин родил пятого сына. Это был второй его брак. Первая жена Ивана Иулиания семь лет тяжело болела, и Иван, разрываясь между домом и тайгой, ухаживал за ней до самого до послета. Когда уже не могла передвигаться — подходил к сидячей, нагибался, она клала руки ему на плечи, обнимала за шею в слабый холодный замок, и он аккуратно вставал-выпрямлялся с ней и, держа за талию, помогал перейти, чувствуя, как шатко, почти волочась, её ноги ищут-перебирают опору, и будто ею шагал. Или, обняв сзади, под локти, переступал вместе с ней — в четыре ноги. Потом уже просто носил.

Был Иван до мозга костей промысловиком, а происходил из старинного старообрядческого рода. Предки жили в Алтайских предгорьях, в Шипуновской волости Змеиногорского уезда. Сыны в хозяйстве главная подмога, и когда в 1861 году для переселенцев на Дальний Восток отменили рекрутский набор, семьёй двинулись к Хабаровску. Многодетно. Подводами, со скотиной, которая по дороге погибла. На месте, едва добравшись, отправился прапрадед (или кто там) в город на базар за лошадью. Жена, переезд не одобрявшая, наказала: «Путную лошадь бери, деньги-то последние». И вот

поход

предлагают ему мелкую кобылёнку, невзрачнейшую, глаза бы не глядели. Мимо бы и прошёл. Но тут явился ему «старичок в образе Николы Угодника» (именно так по преданию) и велел кобылку-то и брать. Домой вернулся, жена: «Ты ково привёл!» Мол, не видишь, чо ли, что совсем жидкая клячонка! Того гляди рассыпется. А жидкая-то клячонка столь могучих жеребцов нарожала, что всё хозяйство-то на них и подняли, да так, что «соседы диву давались». И если возможно провести бережную нить меж трудовой этой матерью-животиной и тихой героинюшкой-женщиной, то на Иулианию-то эта нитка и выведет. Детей восьмерых родила, все крупные, крепкие, только вот беда — погиб один. А происходили все эти рождения в Сибири, куда семья Иванова отца перебралась с Дальнего Востока.

Обычно староверки статные, крепкие, и, бывает даже, мужик как приставка к ней — выжженный, сушёный, бородёнка клочьями. Зато хозяйка широкая книзу, колоколом юбка в складках — сама основа. А Иулиания не в правило пошла — наоборот, маленькая, хрупкая, грудь измученная — дико, больно представить, как столько рожала-выкармливала. И вот хрупкая, а от лечения располнела, лицо, лоб раздуло от лекарств... На лбу даже галочка сделалась, и над ней навалилось футбольным мячом нечто нелепое. Иван жену порой и не узнавал, даже голос изменился. Делалась иногда спокойной и странно рассудительной. Или вдруг рассмеивалась, вспоминая сказанное кем-то третьего дня. И голос делался какой-то надтреснутый и будто важный. Лежала в белой ночнушке, вытянув голую руку, иссохшую до сухой ряби, исколотую до лиловых кровоподтёков под локоть и в прiverх кисти. Лежала-лежала и вдруг запоёт. Голосом прежним, высоким, девичьим. Повелось, что и дети собирались, садились рядом и пели — все три дочери.

Много есть на свете людей,
 Милых да хоро-оших,
 Только нету мамы моей
 Никого доро-оже.

Иулиания сначала молчала, слушала, обострялась лицом, глазами блестела, шевелила губами, а потом и сама начинала подпевать. Дочери пели, как любят маму. Прямо при ней пели, в глаза её солёные погружали песню, ни себя, ни матушки не боясь и заранее побеждая время. И песня чувствовала, как встаёт наконец во весь рост её правда, и лилась, поражённая и чистая, будто пред вечностью. Бывало, и слёз не таили и старшие сыновья заскорузлые, прятали глаза, подпевали басами и не попадая, не вырезая линии, не выводя, как не выводит изгиб наличника пила с крупным зубом. Только Иван не выдерживал пронзительных этих спевов и, отойдя, долго стоял лицом к образам и громко шептал. А старшая дочь Ирина держала мамочку за кисть, холодную, исколотую до кости, и все вместе пели о маме, а мама — уже о всех матерях.

Лечиться Иульянюшка отказывалась, словно хотела без поблажки принять испытание. Родные заставляли, угваривали, а она если и поддавалась, то чтоб не огорчить. Вроде бы невозможное сочетала: болезнь принимала как Божью волю, но пока дышала, не сдавалась до последнего. Поражала тихой своей силой — врачи говорили, что с этой болезнью так долго не живут, а она жила, и все дивились, воодушевлялись и почти верили, что сила эта перенесёт через болезнь. А уж молились как! Когда ещё на ходу была, ездила по святым местам. Как-то я встретил их на зимнике: Филипп, старший сын, на «сурфе» с прицепом, у которого отвалилась водилина. Копался, лёжа, в снегу («Да, всё нормально, управлюся»). А в тепле салона домашне сидела маленькая тётка Иульяния в толстом платке и обильной складчатой юбке.

поход

Потом уж не до езды стало. Кому-то со стороны, может, и казалось — какая уже разница, день она проживёт лишний, месяц, год, всё равно, мол, один исход. И даже, мол, чем дольше, тем мучений больше — и ей, и всем. А Иван бился за каждую её секунду, не считался ни с какими затратами — лишь бы спасти. Но не спас. И ушла навек вся мелочь неурядная, пустячные обиды, которыми бесишко так срамотно застит глаза. И остался по гроб жизни образ смиренной и непобедимой женщины.

У Иулиании пролежни начались, и он мыл её, и это частое мытьё уже каким-то важнейшим делом стало. И чем больше он ухаживал за ней, чем беспощадней проламывал все разновидности мелких стыдов, тем легче, честнее и слёзней ему становилось. Когда, придя с промысла, застал её ещё худшей, сдавшей, неузнаваемой — выскочил набраться сил: рыдания задушили. Страдание было общее, непереносимое, и сыны глядели на него, беспомощно открыв глаза, и эти глаза только добавляли муки и неоглядности. Настолько было её жалко, настолько невыносимо сознавать, что она больна, а он здоров, что спасался подмогой — чем больней, тем спасительнее. Нырять в горе, и оно пёрло в уши, нос, и чем больше себя не жалел, тем сильнее Бог помогал. На охоту ходил — не сидеть же при ней, поджидать кончину: ещё хуже. Да и жить надо на что-то. Помог Господь — ушла в Рождественский пост, когда все дома были.

Иулиания стоит на послесвадебной фотографии. Платок в белый горошек треугольно ширится от макушки на плечи твёрдым щитом. На шее подколлот под подбородком и на грудь ложится плитой. В платке как ромбик лицо — древнее, крестьянское, не загорелое — прожжённое, как с фотографий старинных, на которых: переселенцы, такой-то год, Приамурье. Или военнопленные... Брови домиком — выгоревшие, выжженные добела, и скулы-

яблоки особенно круглы, выпуклы — снизу объёмно темны, а сверху так же белы, как и брови. Такие лица немного страдальческие, обречённые. Зато щёки при улыбке крепнут, круглятся яблочко, и улыбка под ними ярким полумясцем. И у матери её такая же улыбка была. Так они и стояли с двумя улыбками — когда сватался: двумя полумесяцами сияющими... Мир праху твоему, Иульянюшка. Да простит тебе Господь согрешения вольные и невольные и дарует Царствие Небесное. И нас грешных прости, что не уберегли.

С годами Иван с возмущением начал обнаруживать и в себе неполадки, хотя и довольно обычные для возраста и образа жизни. «Да не должно быть такого! Сердце должно чётко работать... Рэз-рэз», — давал он такт сжатой в кулак рукой. Если б можно было — сам бы себя раскидал, перебрал, все подшипники смазкой забил бы — не глядя пол-лета бы выделил и в сарае на холодке бы копался. В коленки тавотницы бы поставил. «И локти прошприцевал бы, хе-хе. Всё работать должно чётко». «Должно» было его любимое слово. Замечательно, что в прежней литературе тоже звучало это «должно», точнее, «дóлжно», и означало зависимость героя от общественных правил. Здесь же «должнó» несло другой смысл — знание жизненного природного закона, трудного, сильного и строгого, как отвес. Он и женился поэтому, зная безсомненно, что нельзя человеку одиноко жить. Что ненормально такое и дико. И все хвори от этого, и особо душевные.

Ездил летом на грязи. Широкий, приземистый. Очень бородатый, почти по-звериному. Борода с полщёк. Чёрный костюм в полосочку. Руки крепкие, недлинные, рукава до полкисти. Старообрядцы только в книгах великаны — в тайге да на земле невысокий ценится, и важнее крепость и чтоб «цент тяжести» пониже. Говорили, что в лучшие годы Иван взваливал на плечо столитровый бочонок с бен-

поход

зином и пёр на угор. Как гуляет жидкость в ёмкости на плече, не каждый знает, но поверьте — шатает пьяно, как гиря вразной с шагом болтается.

Оно правда — не нужны длинная спина и долгие ноги. И в лодке стоять труднее, шестом управляться. И невод тянуть. И сено метать. И на лыжах. Если Ивану добавить ног хотя б ладони на три — то в другой бы калибр ушёл, аж страшно: богатырь с картины. Тем более и лицом силен, выразителен, до ликовости. Черты как подкаченные. Живописцы работают так. Или скульпторы, литейщики. Лоб, брови, веки верхние — всё выпуклое, тяжёлое. Так что, если б подрост в ногах, у кого-то в искусствах точно бы убыло.

В жизни, едва начинал говорить, оживали глаза морщинками, шевелились усищи, открывая сломанный зуб и выступающую челюсть. Особенно она выдвигалась, когда ел кедровые орехи, в кулак собирая скорлупки. Орешек раскусывал всегда чётко пополам, и очень аккуратный выходил «отвал». Не то что бывает, измельчат-исслюнявят: тошно глядеть. Орехи всё время грыз. И осенью, когда по посёлку ходил собирався, и даже в городе, черпая из кармана пиджака.

Борода у Ивана была очень красивая, крупноостистая. Делилась на крупные твёрдые языки, завивы, как на живописных кистях, которые стояли смято и так подсохли. И усы тоже очень объёмные, высокие. Фигура коренастая, в тазу чуть подломанная, корпус нависающий, и быстрая походка.

Как многие староверы, стоял на самой границе с дикой стихией. И чем меньше общался с миром, тем беспощадней была его битва на самом шве с тайгой, на стыке плит, где дымилось и выбрасывало лаву первозданного выживания. По сравнению с его таёжным бытём охота обычных охотников была гостеванием. Он и жил долгое время

не в посёлке, а на заимке среди тайги, и то их топило, то шатучий медведь-смертник наваливался по осени, именно когда хозяин в тайге, а дома лишь бабы с детишками да старик отец. Одного ребёночка так и... Ой, горя сколько было. Может, Иулиания этого и не вынесла. И как иначе было жить? В посёлке, где мат, пьянка да курево? Да телевизор срамной этот? Да рынка узаконенный братобой?

К староверам отношение разное, но сильное: образованный класс, особенно писателя, поэтизируют. Которые построже, правда, попрекают за раздрай с государством. Народ простой тоже не всегда принимает, отвычка от веры сказывается, но более другое: для староверов главное уклад любой ценой. И расчёт на себя только. И вот причуда: чтобы защитить и сохранить нематериальное, приходится вступать с материальным в особо плотные, даже плотские отношения. И у местных мужиков упрёк один: больно рьяно к природе относятся: дескать, «гребут всё», «там покончали зверя, на другое место переехали — и трава не расти». И многодетность пугает, и трудолюбие нечеловеческое — с такими не потягаешься.

— Ну у них же своя дорога! — скажешь.

— Своя-то своя, — ответят, — да больно уж мимотомом, сквозом к нашей идёт. Для себя живут. А мы для йих... так — обстановка.

— А то, что почти в нетронутым виде старинный уклад явили? Это тоже для себя? На всю б страну такой верности... обстановку!

— Да мне это, знашь... слова красивые. А вот там у Афонькина Ручья сохат стоял, как раз Басаргины проезжали и...

— Ну что «и»?

— Рожки да ножки. Вот что!

Да понятно, сохат сохатом... Но никогда дорога старообрядцев не сходилась в такую близь с остальным Русским

поход

миром, единаясь в чутье к чуждому, «анчихристову», «наскрозь» видя и куда мир катится, и кто... катит. И куда ни шло порицать старообрядцев, когда вера на Руси мерой была, а теперь, в катастрофу-то, уже растратно, пожалуй. А Иван был из обычных людей. Для него его староверство — семейная ноша и честь. Он и нес их как защитник, и если Иулиания была свечечкой, то он — её ладонями. Трудовыми и верными.

Ладони эти, как клык у трактора, могли ещё не одно столетие мерзлоту пропахать, если б не остальные запчасти. От трудовых перегрузок начинало поколачивать в груди и голова кипятком наливаясь. Мириться с этой нелепицей Иван не собирался. Никогда не болел и был настолько ладен и умён в движениях, что ни разу пальца себе не порезал. У сыновей, правда, по-другому выходило. Перебор силы вырос-накопился, видимо, за отцовской широкой спиной — мясистые удались не на шутку. И когда пёр самый рост, но башка ещё нагулявшую мышцу не обуздала, то себе руки-ноги рубили, под лёд ухали, а уж одёжу нахратили мгновенно, до сеточки протирая на мышцах. Старший Филипп на раз выдирал стартёр у «Бурана», ещё и ворчал на конструкторов, что «сопли лепят». Ещё на «Вихре» ездил, сидел: одна нога в лодку, другая — к мотору. Перепутал беспричинно скорость и включил заднюю. Мотор подлетел и разворотил зубчатым венцом ляжку. В рямушки... Жил Филипп, правда, в другом посёлке, а при Иване по старшинству первым шёл Тимофей. Его силища как-то особенно опасно гуляла. Вытаскивали по осени лодку-деревяну. Тимоха пёр по заледенелым камням налитанную водой и промёрзшую слань — дощатый подножный щит. Придавленный сланью, он ступал мощно и порывисто. Ноги богатырски буксанули, тело крутанулось коленвалом, шапка слетела. Тимофей не устоял, упал, в падении пытаясь могуче извернуться, почти устоять. Накрыло по голо-

ве до крови сланью. Отец рванулся, но не успевал — всё нарочито медленно происходило, кренился, извернувшись, Тимофей, и падала, накрывала открытое темя сланина... До кости белой ссадил бошку. Аж тошнило. Лежал на нарах. Отец только головой качал и про белое не говорил. Промывал бошку перекисью.

Зато и избушку за два дня собирали. Устраивали мгновенный лесоповал в несколько пил. Те, жесточась, ревели, одновременно падали кедрины, тут же от них отчекрыживались ветки, всё отмерялось, кряжевалось и свозилось снегоходами до площадки. Падающие кедры словно чьи-то машущие лапы были. Творилось невообразимое, казалось, какой-то огромный зеленоватый медведь отмахивался от белёсых пчёл снегопада. Так же и сбор стопы шёл — казалось, бревна сами взлетают на сруб с гулким стуком. Потом братовья молча пили чай. Чередовали порыв со своего рода даже приторможенностью. Как-то раз ехали на берег и попросили помочь столкнуть лодку — тут же пришпорили мотоциклы и едва не с гиканьем помчались к берегу. Я подошёл. Поплевав на руки, взялись и мгновенно столкнули корабль на три тонны груза. Потом сели на сосновое брёвнышко. Тимоха по сырому песку палочкой ковырял, а Стёпа с Лавром камешки кидали в воду. Даже Иван пожимал плечами: «То работать с огня рвутся, то с места не сдвинешь — как пень наехал».

Промежутками были молчаливы. Даже будто замирали. Когда подъезжали к берегу и вылезали из огромной дровяшки здороваться, молча маячили за спиной отца. Как-то мы рубили базу. Они поднялись и пили чай за нашим столом, где среди прочей еды был увесистый пласт сала. Тимофей долго на него смотрел, а под конец чаепития произнёс единственную фразу: «То-олстый кусок сала».

Эта мешкотность иногда и раздражала Ивана — женат только Филипп был, а Тимоха со Стёпкой всё ждали че-

поход

го-то. При том что дочери замуж вышли кто в Амурскую область, кто под Хабаровск. Невесту в староверской среде не так просто найти, свои тонкости, на которые отдельные силы нужны.

Детей, не считая нынешнего, последнего, было семеро. Четверо парней и три дочери. Сыны всё крепили и ширились и телом, и планами, и каждый так разрастался по тайге путиками¹, что уже требовались новые избушки. Рубили очередную. Лес заготовили по снегу, а потом заходили пешком в начале весны кидать в сруб. Подстилка уже отпрела, ударило тепло. Ярко-зелёный мох, кочки, по кромкам налитые солнечным светом, бочажины с бурой водой. Жара. Комар в солнце жёлто, крупно вьётся-блестит. Сруб скидали быстро. Но от жары ли, духоты, от ходьбы ли, брёвен вдруг и застучало в груди. На обратном пути отдышал, ржавец из болота пил, качал головой: «А ведь как саврас бегал». Потом неполадка прошла, как ошибка.

А потом снова подступило — да не одно, а скопом. Взяли в наглуую осаду, доказав, что не ошиблись, что его черед отбиваться. Но не на того напали, даже сыновья говорили, что тятя в свои шестьдесят «ишшо вихрем вьёт». Он-то собирался жить и трудиться в полную отдачу и двинул в город. В ремонт. В своём костюме, в «пальте», в выдровом картузе лохматом. Картуз высокий, как кастрюля, да ещё и с козырьком, особенно лохматым, где ворс на перегибе топырится. Интересно, что даже в костюме умудрялся тайгой пахнуть. Смешанным запахом костра и копченой рыбы. Дочка Ирочка, ещё маленькая, когда зашла впервые в коптильню, пискнула: «Папой пахнет!»

В городе начались обследования. Кабинет. Койка холодная. Аппаратура. Всё технически-белоснежное... Электронное... Экраны, графики. Огоньки.

¹ Путик — линия ловушек с затесями.

Лежал, облепленный проводами, присосками, которые не липли к его умазанной специальным гелем волосатой груди. Отваливались, отлипали, отскакивали, как лягушій. Шерсть привставала, расправлялась вольнолюбиво. Сестра даже подбривала ему грудь. Сначала глядел неодобрительно. Потом, правда, на балагурство перенаправил...

Аккуратная обособленность каждого обследования, все эти экраны, белые панели, парадная электронщина создавали вид, будто и человеческое тело можно подстроить. Что оно тоже из запчастей под номерками. Из блестящих трубок с резьбовыми разъёмами, из диодов да лампочек. Что нет внутри кровавого, природно-тонкого, жильного, скользкого, неподвластного.

Иван вроде таёжный, смущающийся, дикий. Но ничего подобного — везде как рыба в воде, ещё и перешучивается с сестричками, смешит их. Врач показал тонометр давление мерять: «И сколь стоит така «лягушка»? («О, недорого!») И уже думал, куда б её приспособить, «резиную лодку» подкачать. Было наконец главное обследование. Возмутился, когда сестрички сказали: «Ну чо, деда запускаем?» Я т-те устрою деда! Сильно ничего не нашли, сказали поменьше напрягаться в работе и не нервничать. Ну а какие есть неурядки — те, мол, все по пробегу. Вот таблетки.

Нервничать поменьше он не мог. Дело было после буржуазного переворота, и другие охотники как-то очень быстро признали силу новых законов, урезавших права и значимость охотника-промысловика. А он не мирился. Ночами не спал. А суть была в том, что если раньше охотник был нужным и даже исключительным и оберегаемым героем-работником, то теперь он будто исчез с повестки и оказался не хозяином участка, а одним из многочисленно-возможных его пользователей-арендаторов. И мог-